

Г. Г. Красухин



ТЕМ БОЛЕЕ
ЧТО ЖИЗНЬ
КОРОТКАЯ ТАКАЯ...



STUDIA PHILOLOGICA

Studia philologica

Геннадий Красухин

**Тем более что жизнь
короткая такая...**

«Языки Славянской Культуры»

2016

УДК 84-4
ББК 821.161.1

Красухин Г. Г.

Тем более что жизнь короткая такая... / Г. Г. Красухин —
«Языки Славянской Культуры», 2016 — (Studia philologica)

ISBN 978-5-94457-255-4

Это наиболее полные биографические заметки автора, в которых он подводит итог собственной жизни. Почти полвека он работал в печати, в том числе много лет в знаменитой «Литературной газете» конца 1960-х – начала 1990-х годов. Четверть века преподавал, в частности в Литературном институте. Нередко совмещал то и другое: журналистику с преподаванием. На страницах книги вы встретитесь с известными литераторами, почувствуете дух времени, которое видоизменялось в зависимости от типа государства, утверждавшегося в нашей стране. Рассчитанная на массового читателя книга прежде всего заинтересует любителей мемуарного чтения.

УДК 84-4
ББК 821.161.1

ISBN 978-5-94457-255-4

© Красухин Г. Г., 2016
© Языки Славянской Культуры, 2016

Содержание

| | |
|-----------------------------------|----|
| Часть первая | 6 |
| 1 | 6 |
| 2 | 12 |
| 3 | 19 |
| Часть вторая | 24 |
| 1 | 24 |
| 2 | 26 |
| 3 | 32 |
| Конец ознакомительного фрагмента. | 35 |

Геннадий Григорьевич Красухин

Тем более что жизнь короткая такая...

© Красухин Г. Г., 2016

© Языки славянской культуры, 2016

* * *

Воспоминание безмолвно предо мной

Свой длинный развивает свиток.

Пушкин

Часть первая

1

Мне четырнадцать лет...

Про ВХУТЕМАС дальше не будет. Я в нём не учился. Не мог ни по возрасту (уже в 1927-м он был переименован во ВХУТЕИН, который в 1930-м расформировали), ни по дарованию. Да и вообще я не цитирую, а констатирую факт.

Мне четырнадцать лет. Сквозь замутнённое сознание доносится: «Вот наворую, мы с тобой такие ликёры будем пить! Ты пил “Шартрез”?» Сашкино лицо качается и расплывается. Но если закрыть один глаз, оно останавливается. «Нет», – говорю. «Будешь, – уверенно говорит Сашка, – вот наворую...» И он подливает в мой и свой стакан меловой, сладкой и невероятно крепкой браги.

На брагу меня позвал сосед Витька. Ему девятнадцать. Брагу варит его бабушка. К Витьке пришли дружбаны – Колян и Сашка. Колян постарше. Ему за двадцать. Сашка с Витькой ровесники. А меня позвал Витька, как ещё одного своего дружбана. Ну, не такого, конечно, как они. Но я помогаю Витьке. Выполняю его поручения. И он это ценит.

Хотя поручения несложные. В основном они касаются Витькиных девок. У Витьки их много. Моя обязанность схватить трубку телефона и спросить, если просят позвать Витьку: «А кто его спрашивает?» И передать трубку Витьке только в том случае, если звонит та, которую он мне назвал. Остальным говорить, что он будет сегодня поздно и что я обязательно передам Витьке, что она ему звонила.

Витька рад такому пособничеству. У него есть постоянная любовница. Её зовут Таня, и она в этом году поступила в медицинский институт. Она и звонит чаще всего. И чаще всего мне приходится врать ей. Но она обязательно поздно вечером перезванивает. И будит уже заснувших соседей. Да и Витькину мать – тётю Катю – тоже.

Телефон висит в коридоре. А он у нас небольшой. В него выходят все три комнаты – тёткинина и дядимотина, тёткинина и Витькина, и наша. Дядя Мотя – трамвайный вожатый. Работает через день. Но когда работает, встаёт в шестом часу утра. Гремит чайником в кухне и будит наиболее чутких соседей. А те не выспались, потому что около двенадцати ночи их разбудила Таня. Витька-то схватил трубку и закрылся с ней в уборной. Но что толку? Его, может, и не слышно, но люди-то проснулись.

Дядя Мотя – нет. Когда он не работает, он пьёт. И засыпает рано. Но Ирка с матерью тётки Леной, моя матушка и, как я уже сказал, тётка Катя просыпаются почти всегда. И дядя Лёша, когда он остаётся ночевать с тёткой Катей. Ну, дядя Лёша возмущается недолго. Выходит и нажимает на рычаг телефона. И гонит Витьку в комнату. Мать потом рассказывает, какие страшные ругательства шепчет Витьке дядя Лёша. И что она слышит, как бухает тахта в тётки-катиной комнате и понимает, что это бухнулся Витька: то ли после того, как дядя Лёша его ударил, то ли после сильного его толчка.

– Ну, что ты звонишь по ночам? – орёт на следующий день в телефон Витька. – Ты соображаешь, что всех будишь?

– И знаешь, – говорит он в трубку, – всё! Пора завязывать! Не звони мне больше! И не ходи! Почему? А ты раскинь своими куриными мозгами, может, поймёшь!

– Ну да, – насмешливо говорила в кухне тётка Лена, слушая Витьку. – Так она его и бросила! Дождись!

Точно. Таня появляется в сопровождении Витьки через несколько дней. Они запираются в его комнате. Здесь всем звонившим Витьке девкам я говорю просто: «Его нет». А если спрашивают, не знаю ли я, когда он будет, отвечаю: «Не знаю».

Что они в нём находили? Вообще-то он был миловидным парнем. Слегка похожим на артиста Николая Рыбникова. Но держался с ними нагло. «Течёшь? – переспрашивал он ту, которой звонил. – Ну и иди тогда на...» И вешал трубку.

Послав эту, тут же звонил другой: «Ну что? – спрашивал. – Побалуемся? Есть настроение? Тогда жду, не опаздывай!»

– «Шартрез» – это для баб, – говорит Колян, – сладкий больно.

– А что мы сейчас пьём? – спрашивает Сашка. – Горькую?

– Сравнил, – усмехается Колян, – ты по крепости сравнивай. Здесь 60, не меньше, а в «Шартрезе» и 30 не будет.

– Да какие там 60! – возражает Сашка. – Вон, – он показывает на меня, – паренёк пьёт и ему хоть бы хны.

Да нет! Я уже не могу больше сдерживать тошноту, подступающую к горлу, и пулей выскакиваю в уборную. Она, слава Богу, не занята. Но блевать я начинаю по дороге.

– Зачем ты Геньку спаиваешь? – спрашивает тётя Лена Витьку, который выскочил и смотрит, как она помогает мне замывать следы. – Нашёл себе дружка, – усмехается тётя Лена, – от горшка два вершка!

– А ты не умеешь пить – не пей! – напускается она на меня.

– Привыкнет! – возглашает Витька. – Все так начинают.

– Как ты? – спрашивает он меня. – Выпьешь ещё? Или хочешь полежать? Пойдём, – зовёт он в свою комнату. – У меня лежи. Оклемаешься, пока твои не пришли.

Я забыл сказать, что пил я сейчас первый раз в жизни. Один раз, когда был поменьше, хлебнул из бутылки оставшегося от гостей портвейна «Хирса», и мне он не понравился. А отец, кроме «Хирсы», дома ничего не пил. То есть один он вообще ничего не пил. Покупал «Хирсу» для гостей. Мать не пила никакого вина. Наливала себе в рюмку компоту, чокаясь с гостями. Да и не так уж часто к нам приходили гости. Кажется, по разу в год на какой-нибудь праздник. Дядя Миша, старший брат отца, с женой. Или тётя Лиза, материнская тётка, у которой после ранней смерти её сестры – матери мамы – мама жила до замужества. Тётя Лиза тоже приходила не одна, но с мужем. Причём гости приходили не вместе, а порознь. Мне даже кажется, что дядя Миша никогда не видел тётю Лизу. Так что можно себе представить, как пили с отцом гости-мужчины – дядя Миша или тётилизин муж, если после их ухода в пол-литровой бутылке оставалось вина совсем не на донышке.

Другое дело, когда мы к кому-нибудь из них приходили в гости. Дядя Миша и его жена с дочкой жили в двух больших комнатах в общей квартире, которые дал им институт, где оба работали старшими научными сотрудниками (оба были кандидатами химических наук). У них была проходящая домработница Полина, которая пекла вкуснейшие маленькие мясные пирожки к бульону. И вино на столе стояло с маркой «Массандра», которое было дороже «Хирсы» чуть ли не в два раза. Я любил ходить по магазинам, разглядывать цены. «Хирса» стоила рубль 32 копейки, а «массандровские» вина начинались от 2 рублей 60. Ну, а у тёти Лизы на столе стояло несколько бутылок – «Шампанское», коньяки «Арапат» и «Самтрест», бутылка-две «Массандры», но ещё и «Напареули», и «Саперави», и непременно бутылка водки.

Тётя Лиза работала надомной машинисткой, а муж её был руководителем артели, которая заключала договоры с театрами на разного рода ремонтные работы. То есть был частником, которому завидовали и мать и отец: «Как сыр в масле катается!» Материнских родственников в Москве было больше отцовских. Да что сравнивать? У отца родни было больше, но в Москве жил один дядя Миша. А материнские родственники почти все жили в Москве. Тётя Лиза была очень гостеприимна. Так что за её столом сидело немало родни и её, и мужа.

Но, конечно, и дяде Мише, и тете Лизе и в голову не приходило налить мне вина.

– Ну что? – встречает меня Сашка. – Оклемался? А я-то думал, ты боец.

– Будет, – говорит Витька. – Вот полежит немного и будет.

Но лежу я совсем немного: снова чувствую позывы и бегу в уборную.

– Полегчало? – спрашивает Витька, когда я возвращаюсь. – Ну, полежи ещё.

Мать, воспитательница детского сада, работала сегодня во вторую смену. Ясно, что, если б работала в первую, меня б Витька не позвал. Приводила мать моего младшего брата Алика, который ходил в старшую группу детсада. А отец, начальник цеха завода пишущих машин, приходил с работы, усаживался на диван с газетой, которая довольно быстро выпадала у него из рук, – он засыпал. И просыпался с приходом матери.

Так что в любом случае лежать мне нужно было на Витькиной тахте. Ведь спал я у себя на том самом диване, где располагался отец. Они с матерью спали на полуторной кровати, которая стояла у противоположенной стены – через стол от меня. А чтобы положить Алика на раскладушку, стол задвигали к окну. И раскладушка почти запирала собой входную дверь. Места в комнате было мало. Да и откуда бы ему быть на 11 с половиной квадратных метров. Это у тёти Лены и тёти Кати комнаты были просторные: 20 метров у тёти Лены и 18,5 – у тёти Кати.

– Да брось ты лежать, – говорит мне Сашка. – Иди сюда, выпьем ещё.

Нет, пить я больше не могу. Но Сашкино лицо не качается и не расплывается. Меня тянет на улицу продышаться. Да и прийти я теперь должен только после матери с отцом. Иначе они узнают про пьянку у Витьки. А в тёте Лене я уверен: она им не скажет.

– Ну, давай пять, – говорит мне Сашка, когда я, одетый, снова вошёл в комнату попрощаться. Я жму руку всем троим. «Не дрейфь», – говорит мне Колян. ««Шатрез» за мной, – это Сашка. – Вот наворую», – сладко улыбается он.

Я выхожу на улицу. Стараюсь ступать твёрдо, хотя внутри меня трясёт. Иду на Даниловский сквер (Серпуховской вал). Сажусь на лавочку недалеко от выхода на 5-й Рошинский проезд. Но так, чтобы я видел идущих через сквер, а меня б не видели. С 5-го Рошинского сквер будет переходить мать с Аликом, возвращаясь из детского сада. Снова чувствую рвотные позывы. Ох, как это некстати! Сквер неширокий и довольно людный, спрятаться некуда. Прячу голову за спинку скамейки. И тут же меня выворачивает. Поднимаю голову с трудом. Глаза в слезах. Сквозь слёзы вижу, что кто-то стоит передо мной. Вытираю глаза: генерал. Их здесь много ходит по скверу, он одним своим концом выводит на Донской проезд, где находится Высшая военная академия имени Ворошилова.

– Тебе плохо? – спрашивает меня генерал.

– Отравился, – отвечаю.

– Чем тебе помочь? – спрашивает генерал. – Может, домой проводить? Ты далеко живёшь?

– Нет, – говорю, – рядом. Спасибо большое, я дойду.

Генерал ушёл, а мне безумно хочется спать. Зря я ушёл от Витьки. Нет, не зря. Тётя Катя пришла бы с работы, куда бы я делся? Тётя Катя работает в пивной палатке недалеко от проходной завода имени Сталина. «Золотое дно», – завидуют ей мои родители. Мать с тётёй Катей едва здороваются. Из-за дяди Лёши, у которого есть семья.

Он и приходит к тётё Кате не каждый день, а когда дежурит в своём милицейском управлении – раза три-четыре в неделю. Он майор, а его управление проверяет пивные точки. Так что дядя Лёша и тётя Катя ещё и деловые партнёры.

До тёти Кати в её комнате жила тётя Нюра с дочкой Ниной. Тётя Нюра работала уборщицей в кремлёвском буфете, и у меня сохранилась фотокарточка, на обратной стороне которой маминой рукой написано: «Ёлка в Кремле». Это тётя Нюра каким-то образом раздобыла для меня билет на ёлку для детей кремлёвских сотрудников. Для обычных граждан Кремль

при Сталине был закрыт. Хорошо помню, что впустили нас троих – тётю Нюру, Нину и меня, долго осматривая, изучая наши билеты и переговариваясь с кем-то по телефону. А потом мы шли по дорожке сквозь частокол солдат, и моё приподнятое праздничное настроение почти улетучилось, когда я смотрел на хмурые, посиневшие от мороза лица. Правда, на ёлке было весело, и подарок приятно оттягивал руку, когда мы шли назад. Но новое созерцание неулыбающихся, иззябших лиц опять поубавило радости и веселья. Помню ещё, что нам с Ниной хотелось подойти к мощным экспонатам, которые стояли на площади, – к Царь-пушке, к Царь-колоколу, но солдаты нас к ним не пропустили: сходить со специально отведённой для идущих на ёлку или с ёлки дорожки не полагалось.

А уже после смерти Сталина, совсем недавно, тётя Нюра обменяла свою комнату на тётятину, которая была, как и наша, самой маленькой в трёхкомнатной квартире 5-го корпуса. Въехав к нам, тётя Катя оплатила тёте Нюре переезд и дала ещё какую-то сумму – компенсацию за потерю в метраже. Потеря была значительной – целых семь метров, но тётя Нюра очень нуждалась в деньгах, а у тёти Кати они имелись. В нашей комнате и в комнате тёти Лены висело на стене по одинаковому небольшому коврику: тётя Лена и мать в своё время вместе купили по одному такому в Даниловском универмаге. А тётя Катя положила огромный ковёр на пол, да другим покрыла двухспальную тахту, да над Витькиным диванчиком повесила большой тканый ковёр-репродукцию шишкинских медведей. Не говорю уже о дорогой мебели, предмете зависти двух соседок – тёти Лены и матери.

Тётя Катя объяснила всем соседям, почему дядя Лёша не может на ней жениться. Он коммунист, и развод помешает его карьере, парткомы не одобряют разводы членов партии. А подполковником, по подсчётам дяди Лёши, он должен стать очень скоро. Разведётся – и задержат его продвижение по службе. Но мать такое объяснение не приняла. Её возмущал, как она его называла, «этот разврат».

Оказывается, я всё-таки заснул. Просыпаюсь оттого, что меня сильно трясут за плечо. Открываю глаза – милиционер: «Чего спишь? Бездомный? Адрес?» Называю адрес. «Ну, так и иди домой. Спать на скверах не положено».

Иду домой. Темно. Надо пройти три больших двора. А там на каждый двор – по маленькой лампочке. Вот навстречу идут двое.

– Закурить не будет?

– Не курю, – отвечаю.

– А деньги есть?

– Нет, – говорю.

– А проверим.

И от сильного толчка в грудь я лечу на землю. Причём не просто падаю, но натываюсь на что-то и переворачиваюсь через голову. Но сзади слышу топот убегающих ног.

Мне протягивают руку, помогают подняться. Да это ж Колян.

– Удрал сволочь, – говорит он мне, – но я его запомнил. Найду – покойником будет.

Их было не двое, а трое, объясняют мне. Третий подкрался сзади и присел, через него я и перекатился. А двое – вот они. Сашка держит обоих за вывернутые руки.

– Ну что? – спрашивает Колян. – Сам с ними разберёшься или мне доверишь?

– Ну как мне с ними разбираться? – говорю.

– А вот так, – объясняет Колян. И сильно бьёт одного и другого в живот.

Сашка отпускает руки. Оба валятся. Сашка присаживается на корточки и быстро их обыскивает. Поднимается. В его руках две финки.

– С перьями ходим? – Колян берёт в руки одну. – Ну что, Генька, напишем у этого на лбу твоё имя, чтобы навсегда запомнил? Или уж у обоих, чтобы никому обидно не было?

– Не надо! – в ужасе вырывается у меня.

– Ну, не надо, так не надо, – соглашается Колян. – Жалостливый ты, – говорит он мне. – Они бы тебя не пожалели.

И он с силой бьёт ногой в бок одному из лежащих. Другого с такой же силой бьёт ногой Сашка.

– Полежите, – говорит им Колян, – отдохните. Мы сейчас вернёмся. Вот только проводим дружбана.

И они ведут меня ещё через один двор, к нашему подъезду.

– Рощинские? – спрашивает Сашка Коляна.

– Они, – отвечает Колян. – Кто же ещё втроем пойдёт на пацана? Ладно, скажу Буру, пусть он проведёт дознание.

Бур очень известен в наших домах. Похоже, что его боится даже наш участковый капитан дядя Вася. Я видел, как улыбался дядя Вася Буру, как бережно жал ему руку. И как тот небрежно с ним разговаривал.

Но Коляна Бур уважает. Они вместе сидели. Сколько отсидел Бур, я не знаю. А Колян отсидел, как говорил, свою пятёрку. Жил Бур в одном из Рощинских проездов. Поэтому я понял, о чём говорят Сашка с Коляном.

– Вы что, правда вернётесь? – спрашиваю я.

– Пойдём назад, – говорит Колян, – нам по пути. Но они уже уползли. Проверим, конечно. Добавим, если что!

– Ну, будь, – он жмёт мне руку. – Привыкай. Ты до этого пил когда-нибудь?

– Нет, – честно отвечаю я.

– Я так и понял, – сказал Колян. – Ну, ничего. Все когда-то начинают.

– Да привыкнет он, – улыбается мне Сашка. – Мы с ним ещё «Шартреза» попьем, – и тоже жмёт мне руку.

Я открываю нашу дверь, мышкой проскальзываю в тёмную комнату, стараясь не задеть Алькиной раскладушки. Хмель с меня давно соскочил, и я тихо раздеваюсь и ложусь под одеяло.

Так значит, это были рощинские! Повезло мне с моими дружбанами. Я-то знал, какими лютыми бывали рощинские. Помнил одного рощинского.

Понятно, почему его прозвали Мартышкой. Из-за фамилии. Но Мартынов и в самом деле был похож на обезьяну: оттопыренные уши, низкий лоб, вывернутые губы. Правда, для полного сходства не хватало волосяного покрова, но третьеклассников заставляли стричься наголо.

Мы звали его Мартышкой промежду себя. А в лицо – нет. Боялись не столько его, сколько его дружков, которые подстерегали тебя, вооружённые металлическими прутьями. Мартышка как раз и жил за Серпуховским валом в страшных Рощинских проездах (их было 6), пересечённых такими же страшными 3-мя Рощинскими улицами. Туда редко кто осмеливался ходить. Из стоящих рядом друг с другом деревянных трущоб несло затхлостью. Во дворах играли в карты взрослые и дети, которые, как взрослые, смолили папиросы (от нашего Мартышки несло табачным перегаром). А когда убирали карты и на столе появлялась водка, к компании присоединялись женщины, приносившие какую-нибудь нехитрую закуску: варёную картошку, солёные огурцы и визгливо подпевавшие потом пьяным своим собутыльникам.

Мартышка носил с собой не только перочинный ножик, которым исписывал парту. Однажды его поймали в раздевалке с бритвой. Он успел полоснуть ею несколько зимних пальто и затравленно молчал, зло сверкая глазами, когда его спрашивали, зачем он это сделал. Выносить сор из избы дирекция побоялась: инцидент как-то замяли. Но когда через некоторое время чьи-то пальто снова оказались исполосованными, пришлось вызывать милицию.

Однако в детскую колонию Мартышку упекли не за это.

Во дворах нашего Хавско-Шаболовского переулка (теперь он улица Лестева) стояло несколько одинаковых статуй – небольших гипсовых мальчиков Лениных. А подходя к Сирот-

скому переулку, я шёл в школу мимо ещё одного такого же. Смешно было глядеть на его кудри, неизменно вызывавшие в памяти очень известные тогда строчки:

Когда был Ленин маленький
С курчавой головой,
Он тоже бегал в валенках
И в шубке меховой, —

а гипсовый был в летнем костюмчике и в ботинках.

Это меня и веселило: одев Ленина по-летнему, скульптор-копиист словно разоблачил этим поэта, не сообразившего надеть на Ленина зимнюю шапку. А с неприкрытой – пусть даже курчавой, а не лысой – головой по морозу не очень-то побегаешь!

Оказалось, что точно такой же, как у нас, гипсовый Ленин стоит и в жутком дворе Мартышкиного дома. Мартышка с друзьями, забавляясь, закидали статую снежками, а когда металлическими прутьями счищали с неё снег, подъехал милицейский наряд. Ребята разбежались. Милиционеры сумели отловить двух. Один из них был Мартышка. Отколотый нос маленького вождя стоил Мартышке много дороже, чем располосованные бритвой зимние пальто. В школе он больше не появился...

2

А школа наша была необычной. Называлась экспериментально-базовой Академии педагогических наук РСФСР. Директор её входил в президиум этой академии. А учителя, как правило, были её сотрудниками, научными работниками. В нашем подъезде на третьем этаже жила Наталья Петровна. Ирка, дочка тёти Лены, с ней не то чтобы дружила, но была у Натальи Петровны в гостях, когда та защитила диссертацию. Ирка работала секретарём у Василия Сталина в ВВС Московского военного округа, привыкла к развязным и нагловатым офицерам, поэтому её смешили чопорные гости Натальи Петровны. «Пьют крошечными рюмками, танцуют, не прижимаясь», – рассказывала она на кухне тёте Лене и матери. «А тебе – только бы прижаться к незнакомому мужику!» – ворчливо говорила тётя Лена. «А зачем тогда танцевать!» – удивлялась Ирка. Впрочем, я сейчас не о ней, а о Наталье Петровне.

Она пришла к нам в школу учительницей истории, когда я учился в 5-м классе. И очень насмешила ребят, когда, задав какой-то вопрос и предлагая на него ответить, приветливо сказала обо мне: «Геня скажет». Класс развеселился: «Геня!» В школе я был Геной, Генкой, но родители звали меня «Геней», так же звали меня соседи и во дворе.

А родители совсем не чудили, и имя «Геня» было вовсе не домашним моим именем, наподобие «Пека», «Таша», а самым что ни на есть настоящим. Меня назвали в честь рано (в 34 года) умершей бабушки – материнской матери, которую звали причудливо: двумя именами «Дуся-Геня». И сестра матери Соня тоже назвала свою дочку Женей в честь бабушки. Я ещё, узнав об этом, удивился: почему не Дусей-Евдокией?

Ирка страшно поразилась, узнав, что Наталья Петровна работает у нас учительницей: для чего тогда защищала диссертацию? Но, разговорившись с ней, узнала, что все сотрудники её академической лаборатории (или отдела) работают учителями не по совместительству. Некоторые из них авторы новых учебников, которые должны пройти апробацию (Ирка, конечно, такого слова не произнесла, это я уж от себя, теперешнего, для ясности). Если пройдут у нас (а это определит специальная комиссия академии), пойдут в массовое производство для всех школ. А некоторые сотрудники академии составляли программы по своим предметам и тоже должны были доказать, что их программы лучше прежних. То есть мы были как бы подопытными кроликами.

Я не знаю, как попал в нашу школу Мартышка, но я, отучившись в 1-м классе в 584-й школе, что была в конце Шаболовки напротив трамвайного депо имени Апакова, перешёл в нашу, 545-ю школу не просто как в ближнюю по месту жительства. Мне предложили сдать экзамены по арифметике и русскому языку.

Вообще на экзамены мне везло. Первый был анекдотичным. Я очень рано научился читать и немедленно записался в библиотеку: своих книг у нас в семье было мало. Тётя, сидевшая на выдаче, сначала не хотела меня записывать: заставляла читать газетный текст, книжный с разными размерами шрифтов и записала только после этой долгой проверки, которая несколько меня не обидела, но, наоборот, настолько воодушевила оказанным доверием, что, когда через несколько лет у меня родился брат, я тут же опрометью бросился сообщать об этом библиотекарше. Помнил, что формуляр требовал сведений о родственниках. В библиотеке меня поздравили с братиком, но попросили прийти, когда я уже буду знать, как его назвали.

А второй экзамен был тот самый при переводе в 545-ю школу.

Обучение тогда было отдельным, и абсолютное большинство мальчишек, учившихся в ней, были детьми военных, в том числе и тех генералов, что занимались в Военной академии имени Ворошилова. Но не только их. В районе Городской и Тульской улиц находились закрытые научно-исследовательские институты – «почтовые ящики», как их тогда называли. Кажется, один из них разрабатывал и изготавливал химическое оружие. Но о нём я узнал позже,

когда ездил от завода, на котором работал, на картошку. Вместе с нами ездили и «химики». Они и рассказывали, чем занимаются. А вот о чём я знал точно, так это о лаборатории, которая производила всякое шпионское оборудование. Дело в том, что туда получил направление мамин брат Аркадий, закончивший Пензенский политехнический институт с отличием. А потом его перевели в подмосковное Кучино. Не знаю, вместе ли со всей лабораторией или для организации подобной.

Так вот, таких, как я, принятых в школу по экзамену, было мало. Для обычных детей, живших недалеко от школы, но чьи родители не были связаны с армией или с разведкой, существовала небольшая квота. Вот по ней я и прошёл.

А уже потом сдавал экзамены после окончания каждого класса. Но это уже все сдавали. Их отменили как раз в тот год, когда я кончил школу.

Я вообще в начальной школе был круглым отличником. Мать была недовольна, если я приносил из школы четвёрку. Но четвёрки я получал редко.

Немецкий язык мы учили с 3-го класса, а не с 5-го, как в большинстве школ. Но, как я теперь понимаю, заинтересованности в том, чтобы мы действительно выучили язык, не было даже у научного сотрудника академии – нашего учителя Михал Михалыча. Уроки были такие же, как у моей жены и у нашего сына. Общались мы с Михал Михалычем на русском, переводили не очень сложный текст со словарём, составляли короткие простые предложения на немецком и читали фразы, написанные сложнейшим готическим шрифтом.

Ну и, не зная языка, заучивали его грамматику: перфект, плюсквамперфект, футурум цвай. Мне эти формы глаголов давались легко. Но толку от них не было: они никак не подвигали тебя в освоение языка.

Классы в нашей школе длиннее обычных. Так что за задней партой стоят два ряда стульев. Это на случай, если придёт комиссия из академии или приедут учителя с периферии, которых министерство отправляет к нам. Много позже я узнал, что урок, где присутствуют такие учителя, называется мастер-классом того, кто ведёт этот урок.

Михал Михалыч свой мастер-класс всегда начинал с меня или, как он возглашал, с алфавита. Память у меня была хорошая, и я мог секунд за двадцать отбарабанить весь немецкий алфавит: *а, бэ, це, де, е, еф, ге, ха, и, йот, ка* и так далее. На учителей это производило впечатление, и Михал Михалыч продолжал вызывать сильных учеников, в которых он был уверен. Тяжёлые отглагольные формы опять доставались мне в самом конце урока: я в них не путался, и урок заканчивался триумфально.

Тем не менее языком я даже не начинал владеть, хотя добросовестно запоминал все немецкие слова, которые задавал на дом Михал Михалыч. Потом-то я понял, что веди Михал Михалыч урок по-немецки, говори с нами только на нём, мы бы уже к концу начальной школы владели бы его навыками. Но Михал Михалыч тут не виноват. Так предписывало (я уже через несколько лет это постигнул) преподавать иностранный язык государство. Оно, выпускавшее радиоприёмники только с длинными и средними волнами, потому что на коротких волнах было легче ловить западные радиостанции на русском языке, оно, мощным рёвом заглушавшее какой-нибудь русскоязычный иностранный «голос», вовсе не было заинтересовано, чтобы его граждане владели иностранными языками, на которых читали бы и слушали бы совершенно недопустимые, с точки зрения государства, вещи. А недопустимо было всё противоречащее тому, что внушало своим гражданам государство.

Как я уже сказал, в 545-й школе я начал учиться со второго класса. Поэтому о делах первоклашек в ней не знаю. Но уже с него, то есть со второго класса, раз в неделю (обычно по средам) мы оставались после уроков на «классный час», который посвящался рассказу нашей учительницы Нины Павловны о том, как нам повезло жить в СССР, где трудящиеся быстро залечили раны, которые нанесла война, и обогнали все страны, добившись невиданных успехов во всём – в сельском хозяйстве, в производстве, в крепкой дружбе всех народов между

собой и сплочённости их вокруг мудрого, родного и великого Сталина. Дружат ли так народы в других странах? Нам рассказывали о неграх, которых линчуют в Америке, объясняя попутно, что это такое. Рассказывали об африканских рабах, с которыми жестоко обращаются английские, французские, португальские и другие колонизаторы. Говорили, как завидуют нашим трудящимся в других странах, которым очень трудно поверить, что у нас нет безработных и бездомных. Но приезжают к нам профсоюзные делегации и убеждаются, что так оно и есть. А профсоюзные делегации, как правило, состоят из рабочих. Как жадно слушают их рассказы о чудесной стране, когда они возвращаются домой, где многие замерзают от холода и умирают от голода.

Надо повиниться: я и на классном уроке очень выделялся такими знаниями. Дело в том, что отец выписывал то «Правду», то «Известия», и я прочитывал газету от корки до корки, даже передовые статьи. Читал и был в курсе сегодняшней жизни в мире, как её преподносила своим согражданам власть.

Поэтому, когда Нина Павловна спрашивала, знает ли кто-нибудь о чём-то или может ли кто-нибудь дополнить её информацию, я неизменно тянул руку.

Иногда на классный час приходила парторг школы – учительница биологии. Она не выступала, сидела и слушала. Но в конце учебного года я попал в первую партию пионеров-второклассников, и страшно радовался своему пионерскому галстуку, который в классе носили очень немногие.

А ведь видел я, что происходит вокруг. Видел людей, побирающихся, просящих подавание. Юрий Нагибин ещё при советской власти рассказал о том, как года через два-три после войны калек исчезли из Москвы. Их убрали, свезли на Валаам и на Соловки: с глаз долой, из сердца вон! А я хорошо помню этих калек. Многие на дощечках с колесиками: стоял, естественно, только торс, ног не было, зато торс золотился и серебрился от фронтовых наград. Слепые, одноногие на костылях, безрукие, с изуродованными лицами – и неизменно все с медалями и орденами. Они располагались у Даниловского рынка, у входа в магазин на углу Шаболовки и нашего Хавско-Шаболовского переулочка и с другой стороны этого магазина – у чёрного входа, где сразу после отмены карточек в определённые дни выстраивались огромные очереди за мукой. Позвякивающие своими наградами калек-старички (а в семь-восемь лет старичками кажутся очень многие взрослые) сидели и стояли у Донской (действующей) церкви, располагались по периметру полукруглого здания «поросёнка» – как звали этот магазин на Тульской местные жители. Встречал я нищих и у входа на оба кладбища, куда мы часто ходили с ребятами, – Даниловское и Донское. Да и нередко звонили в дверь квартиры. Открывали и видели какого-нибудь одноногого парня на костыле (как он сумел забраться на пятый этаж без лифта?) или старушку с медалями и с протянутой рукой. Им выносили варёную картошку, давали хлеба, кусочки сахара. Не помню, чтобы кто-нибудь из соседей давал им деньги. Не говорю уже о матушке, которая нищих не любила и, открыв им дверь, тут же её захлопывала.

Всё я видел, но глупо и упрямо верил газетам, верил радио. Правда, и зашаталась моя вера довольно скоро.

На лето меня отправили в глухую деревню Смоленской области, где я жил в семье тётки – сестры отца. Вот где я насмотрелся на нищих, которые часто ходили по избам, рады были чему угодно – куску хлеба или кружке кваса. Подавали им неохотно: крестьяне (колхозники) голодали сами; с большой опаской открывали им двери. Открывали, как правило, с винтовкой или с пистолетом в руках: вокруг глухой лес. «Не волков, а людей надо бояться, когда идёшь в лес», – назидательно говорили мне соседи моих родственников.

Дядя Гриша, муж тётки, был человеком могучего телосложения и богатырской силы. Он никого не боялся, впускал нищего или нищенку в дом, кормил, иногда давал денег. Но нас, меня и его детей, моих двоюродных братьев, без оружия в лес не пускал. А были у него в доме и немецкие и советские револьверы из богатого арсенала, оставленного войной в смоленских

лесах, и даже два дамских браунинга. Дядя Гриша стрелял навскидку и нас учил, но у меня получалось плохо. Метко стрелять я так и не выучился, хотя, отправляясь за грибами или за малиной, клал в карман, по настоянию взрослых, дамский браунинг.

Кстати, об арсенале. Несколько ребят моего возраста или чуть постарше подорвались на минах. Напротив нашего дома стояла полуразрушенная церковь, за которой тянулось кладбище – единственное на довольно большую округу. Сюда приезжали хоронить из дальних деревень. Видел я и похороны моих ровесников, погибших от мин. Однажды привезли шесть гробов сразу: на лесной поляне развели костёр, пекли картошку, сворованную на колхозном поле, подбрасывали в костёр наломанные ветки и хворост и не разглядели в охапке, которую швырнули в огонь, гранату – не все погибли, ещё несколько ребят остались покалеченными на всю жизнь.

Нищих неохотно впускали в избы, потому что подозревали, что они наводчики, подосланные бандитами, о жесткости которых рассказывали легенды: ограбят, убьют, изрубят топором, сожгут в собственном доме. Тем более что на защиту от них не надеялись. Хотя сельсовет находился именно в нашей деревне, точнее в селе (церковь-то, хоть и разрушенная, но была у нас!), в нашем селе Коскине, хотя одну сельсоветовскую комнатку занимал участковый дядя Витя, что он мог один? Отделение милиции находилось в Касне – в посёлке, расположенном в пятнадцати километрах от нас при станции, откуда люди ездили на паровиках в Вязьму. Но дозвониться по телефону из Коскина в Касню было очень трудно: дядя Витя часами безуспешно накручивал ручку телефонного аппарата. В хорошую погоду он ещё мог легко проехать туда по бездорожью на своём мотоцикле, а в ненастье запрягали лошадь, и она еле тащилась по брюхо в грязи.

Так что случись чего, кто бы приехал к нам из Касни? А дядивитин пистолет никого не ободрял: все были вооружены не хуже.

А главное – нищие, которые удивляли меня тем, что исхитрились как-то добираться к нам – в такую глухомань, просили милостыню у таких же нищих: колхозники и сами голодали. Помню подписку на очередной заём. Вместе с председателем колхоза мы, несколько его добровольных помощников, ходили по избам. И не только небольшого нашего Коскина, но и огромной – домов на сто – деревни в двух километрах от нас. Нищета была свистящей: кислый квас в сенях в кадке, на которой стояла кружка. Пустые крапивные щи на столе, если кто-то, не обращая на нас внимания, продолжал есть («исть», как говорили все на местном диалекте). Латаные-перелатаные простыни на веревках во дворе и самодельные, сшитые из разных лоскутов одеяла. Ходили по двору куры, но яйца колхозники, как правило, везли в Касню на продажу. Некоторые держали корову, козу или свинью. Мясо возили на рынок в Вязьму. А молоко продавали здесь же, своим. Часть выручки уходило на налог за скотину. Избы были покосившиеся, а внутри – закопчённые. Встречали нас проклятиями, криками и воем женщин и детей. Мужики за топоры хватались: шутка ли, каждый колхозник должен был подписаться на облигации в размере не меньше, чем полумесячная выработка своих трудодней! И хотя на трудодни давно никаких денег не давали, а отоваривали их дровами, сеном, кормовой репой – турнепсом, условно всё это измерялось в деньгах. Подписаться на заём – значит согласиться, чтобы тебе уменьшили и без того малое, смириться с тем, что целых полмесяца в году ты будешь работать бесплатно. В такие дни и милиция приезжала из Касни дяде Вите на подмогу скручивать особенно буйных.

Впрочем, нищим иногда перепало. Особенно по праздникам. 19 августа – Спас яблочный – вся деревня гуляет. Все пьяны – мужики и бабы, столы со свежими и солёными огурцами, с капустой квашенной, с грибами, даже с варёными яйцами стоят во дворах. Вот за них частенько и сажают пришлых людей, наливают им, угощают. Правда, без пьяных драк не обходится. Но тут уж и нищие помогают разнимать дерущихся, не только свои, деревенские.

В паровиках, везущих в Вязьму, я нищих встречал постоянно. Пискляво на одной ноте выводящих: «Подайте, люди добрые!» Растягивающих меха баяна и поющих блатные песни. Или веселящих публику частушками под балалайку. А в поезда, следующие из Вязьмы в Москву, нищих не пускали: проводники за этим следили строго.

Был у дяди Гриши большой немецкий ламповый приёмник. В глуши он ловил всё. Но дядя Гриша, собираясь на работу, любил слушать «Би-би-си». Я, спавший с ним в одной комнате, тоже слушал эти передачи, о которых, выключая приёмник, дядя Гриша говорил: «Врут, гады!» Я соглашался: врут, конечно, но что-то инородное западало в душу. Например, то, как рассказывало радио о подписке на заём. В наших газетах каждый день печатали статьи о выполнении плана подписки: людей просили подписаться на пол-оклада, а они не соглашались, требовали, чтобы их подписали на целый. А по «Би-би-си» я услышал о сопротивлении, о том, как не желали люди подписываться, о том, что я видел своими глазами. Здесь я не соглашался с дядиным «врут», говорил ему об этом. «Ну, здесь они не врут, – говорил дядя Гриша, – а вообще много врут. И ты никому не рассказывай, что слышал».

Словом, в третий класс я вернулся не таким упёртым патриотом, как прежде. А тут ещё я рассказал отцовскому брату дяде Мише о том, что меня удивило и даже напугало, но спросить об этом я никого там в деревне не решился. Я уже говорил, что спал с дядей Гришей в одной комнате. Так вот спал он странно: заводил зрочки за бельмы и смотрел страшными слепыми глазами. «Это после тюрьмы», – вдруг сказал дядя Миша. И тут же добавил: «Его взяли и отпустили, когда выяснилось, что он не виноват». «А в чём его обвиняли?» – спросил я. Дядя Миша долго молчал, но потом сказал: «То, о чём ты сейчас узнаешь, ты не должен говорить никому. Обещаешь?» Я обещал. И дядя Миша рассказал мне, что арестовали ещё до войны его отца, моего дедушку, и дядю Гришу по страшному обвинению в шпионаже. Дедушка, наверное, признал себя виновным и получил 10 лет без права переписки. «Мы его ждём», – сказал дядя Миша. А про дядю Гришу сказал, что тот ни в чём виновным себя не признал, и его отпустили. А то, как он сейчас спит, показывает, что на допросах его били и, скорее всего, переломили основание черепа, но ничего от него не добились.

Дядя Миша посмотрел на меня и сказал: «Ты обещал мне не говорить об этом никому». «Не скажу», – снова заверил я его. «И отцу нельзя говорить тоже, – сказал дядя Миша. – Он верит, что его отец был шпионом». «Но ведь дедушка и сам в этом признался», – сказал я. «Пытки выдерживают не все, – ответил дядя Миша. – Ты ведь был в деревне, понял, какая это глухомань. А до войны до них добраться было ещё сложнее. Кто бы в такой глуши стал вербовать полуграмотного колхозника?»

Медленно, по капле выдавливался из ребёнка казённый патриотизм. Всё это предшествовало семидесятилетию Сталина, которое я встретил с большим энтузиазмом. Написал стихи о Сталине, которые поместили не только в нашей классной стенной газете, но и в школьной. Жадно читал «Правду», посвящённую сталинскому юбилею. Удивился, почему его наградили орденом Ленина, а не второй золотой звездой героя, но согласился с отцом: Сталин – человек огромной скромности. Читал статьи всех сталинских соратников: Маленкова, Молотова, Берию, Ворошилова, Микояна, Кагановича, Булганина, Андреева, Хрущёва, Косыгина, Шверника, Шкирятова, Поскрёбышева. Прочитал, как празднуют сталинский юбилей в странах народной демократии. Понравилось, что бургомистр Будапешта Калман Понграц внёс «предложение выразить чувство благодарности населения венгерской столицы великому Сталину переименованием самой красивой улицы Будапешта – проспекта Андраши – в проспект имени Иосифа Виссарионовича Сталина». Через некоторое время сообщили, что в честь Сталина переименовали болгарский город Варна и высшую точку Болгарии и Балканского полуострова. Сталиным назвали и высшую точку Татр в Словакии. В Румынии город Брашов стал городом Орашул-Сталин, в Албании город Кучова переименовали в Читети-Сталин, в Венгрии – Дунайварош стал Сталинварошем.

Словом, Сталин становился явлением всемирным, и мне нравилось это.

Правда, перед самым сталинским юбилеем я испытал недоумение, чтобы не сказать – сомнение, возникшее, когда в Болгарии разоблачили агента югославских фашистов Тито-Ранковича Трайчо Костова. Процесс над ним подробно освещала газета. Из неё я узнал, что все сообщники Костова признали себя виновными. А он не признал. Костова приговорили к повешению. «Приговор приведён в исполнение», – писала «Правда» 16 декабря 1949 года. И рядом напечатала письмо Костова, в котором он кается, что морочил голову следствию, согласен с обвинением и просит его простить. «Для чего ж тогда нужно было его срочно вешать? – думал я. – Не лучше ли было сперва дать ему зачитать это письмо?» Очень сильное взяло меня сомнение: так ли обстояло дело, как его представляют? (Через много лет я прочитал, что в камере смертников Трайчо Костова посетили высокопоставленные болгарские партийцы. Обречённого на казнь заверили, что его помилуют, если он обратится с просьбой об этом к генеральному прокурору. А заодно и что-то из обвинения признает. Костов поверил. Болгарские газеты печатали факсимиле его письма. Наши же о правдоподобию не заботились!)

Сомнения – путь к неверию. У меня он оказался весьма извилистым.

До сих пор не могу найти рационального объяснения тому, что задолго до посещения стадиона, слушавший только футбольные радиорепортажи Вадима Синявского, я болел за команду ЦДКА. Как услышал это название, так оно и легло мне на сердце: я радовался победе ЦДКА над любым другим футбольным клубом и огорчался любому поражению ЦДКА.

Вот так же, как полюбилось мне слово «ЦДКА», воздействовало на мою душу имя венгерского коммуниста, он был министром иностранных дел – Ласло Райк. Опять-таки не могу рационально объяснить, чем именно оно мне понравилось – понравилось и всё тут. Полюбилось. И вдруг читаю в газете, что Ласло Райк арестован, что он был агентом югославских фашистов Тито и Ранковича.

Это меня как кипятком ошпарило. Мой возлюбленный венгр оказался фашистом. Мечтал свергнуть в Венгрии народно-демократическую власть. Его приговорили к повешению. И повесили 15 октября 1949 года.

Трудно было с этим смириться, но пришлось. В конце концов, какое я имею право сомневаться в справедливости приговора будапештского суда?

И вот через два месяца вешают Трайчо Костова, в справедливости приговора которому я очень сильно засомневался.

И сразу же вспомнил Ласло Райка: что если и с ним поступили так же. Тем более что обвинения обоих были очень похожи. И наши газеты писали, что агентура Тито и Ранковича проникла на руководящие посты во всех странах народной демократии.

Впервые я не поверил нашим газетам.

И укрепился в своём неверии в разговорах с отцом моего школьного друга Марика Быховского Яковом Лазаревичем, который очень много сделал для моего развития. Он был единственным человеком, который говорил со мной весьма откровенно и не просил делать тайны из наших разговоров. Тем самым показывал, что он уверен во мне.

– А Сталин знает, что Райк и Костов никакие не фашисты? – спрашивал я его.

– Наверняка, – отвечал он.

– А что же он за них не заступился?

– Я бы мог тебе ответить: поверил суду, – сказал Яков Лазаревич. – Но я так не думаю. Вот почитай эту книгу. Прочтёшь – поговорим. – И он дал мне обёрнутую газетой книгу. Я раскрыл её и прочитал название «Судебный отчёт о процессе право-троцкистского блока».

– А я её читал, – сказал я.

– Читал? – удивился Яков Лазаревич. – Кто тебе её давал?

– Дядя Миша, – ответил я. – Старший брат моего отца.

– Ну и как тебе книга? – спросил он.

– Да я всё это знал, – отвечаю.

– Чего ты знал? Что Бухарин и Рыков приказывали травить людей, портить продукты и оборудование?

– Но они же сами об этом говорили.

– А если им приказали так говорить? Или угрожали посадить семью, если они откажутся от обвинений? У тех, кто их обвинял, было много средств заставить их оговорить себя, повторить то, что придумали для них их обвинители.

– Ну почему придумали? – сказал я. – Помните кино о Ленине, где Бухарин знает, по какой дороге удирают те, кто были вместе с Каплан, когда она стреляла в Ленина, но посылает их преследователей в противоположную сторону?

– Помню, – сказал Яков Лазаревич, – но фильм вышел уже после того, как Бухарина объявили извергом рода человеческого и расстреляли. А после – чего только не придумаешь, если хочешь очернить человека.

И здесь я вспомнил про дядю Гришу, про то, как страшно было смотреть на него, спящего. Рассказывая о нём Якову Лазаревичу, я сказал: «Вот видите, его пытали, а он всё равно отказался подтвердить обвинение. И его выпустили».

– Ну, Бухарин и твой дядя Гриша – фигуры несопоставимые, – сказал Яков Лазаревич. – Бухарина нельзя было выпускать, раз уж его взяли. Нельзя было показывать всему миру, что у нас арестовывают невиновных. Дядя Гриша – другое дело. Почему его отпустили, мы можем только гадать, но не верится, что он поразил следователей своей нестигаемостью. Конечно, я рад, что он вышел на волю. Вышел, свидетельствуя своим видом о том, каково ему было в тюрьме. Без разрешения следователи пытаться человека не могли. Значит, им разрешили.

(Прав оказался Яков Лазаревич. Когда развеялся сталинский морок и Хрущёв прочитал знаменитый свой доклад, выяснилось, что дедушку и дядю Гришу арестовали по разнарядке, спущенной Смоленскому отделению НКВД, накануне падения Ежова. С дедушкой управились за полтора месяца: Особое совещание при НКВД в Смоленске приговорило его к расстрелу и тут же расстреляло: уже в 1956 году мы узнали, что значит на языке органов «10 лет без права переписки». С дядей Гришей промедлили. Ежова сменил Берия, который кое-кого из ежовских узников выпустил. Дядя Гриша попал в их число.)

3

Я уже говорил, что болел за ЦДКА, слушая репортажи Вадима Синявского. Футбольные позывные по радио напоминали переливчатый звон колокольчиков, услышав их, я радостно настораживался и сердцем отзывался на знакомые модуляции волшебного голоса: «Внимание! Говорит Москва! Наш микрофон установлен на московском стадионе “Динамо”. Мы ведём репортаж о футбольном матче на первенство Советского Союза между командами...»

Я так привык к этому началу, что однажды ухо сразу же зафиксировало разницу: слово «матч» Синявский не произнёс. Он сказал, что ведёт репортаж о футбольном «состязании». Да и дальше в том же репортаже исчезли «голкипер», «бек», «хавбек», «форвард». Синявский и раньше мог сказать: «вратарь», «защитник», «полузащитник», «нападающий», но говорил и так и так – называл вратаря то «вратарём», то «голкипером». А уж «аут» или «корнер» произносил постоянно. Тем более «пенальти», «пендаль», как мы называли его во дворе. А сейчас: «Ай-яй-яй! Судья показывает на одиннадцатиметровую отметку. Одиннадцатиметровый штрафной удар!»

Не стану утверждать, что сразу понял, в чём тут дело, но недоумение возникло тотчас: для чего Синявский отказывается от коротких энергичных слов, которые так уместны в темпе его стремительного репортажа? Кому не ясно, что означает «аут»? Ведь пока произнесёт Синявский: «Мяч вышел за боковую линию», – игрок уже успеет вбросить этот мяч! А кто не знает, что «корнер» – это угловой удар?

Но уяснил я себе, в чём дело, довольно быстро и никого ни о чём не расспрашивая. Ту газету, которую выписывал отец, я прочитывал, начиная, как я уже говорил, с передовой. Сейчас сам этому удивляюсь: что меня тогда привлекало в безликих материалах? Однако в одной из заметок (то ли в передовой, то ли в подписанной автором, не помню) прочитал, что ещё Ломоносов особо хвалил русский язык, который вобрал в себя всё лучшее из языков мира (мне особенно запомнилось «великолепие гишпанского» из-за смешного созвучия с шампанским). Поэтому, писала газета, не следует засорять язык великого народа иностранными словами.

Значительно позже, читая «В круге первом», я удивлялся Солженицыну, что тот заставил своего Сологдина действовать в унисон с официозом тех лет, которые описаны в романе. Ещё через какое-то время, прочитав другие солженицынские вещи, я этому удивляться перестал.

А тогда, после газетной статьи понял я, почему вместо «матч» Синявский стал говорить «состязание». Когда я поделился своим открытием со старшим братом отца, он усмехнулся:

– «Футбол» – тоже не русское слово. Синявский должен говорить о состязании по игре ногой в мяч!

– Ходил ли я в булочную? – спросил меня дядя Миша, – и обратил ли внимание...

– Обратил, – радостно сказал я. – Французскую булку переименовали в городскую.

– А канадский хоккей в хоккей с шайбой, – сказал дядя Миша. И добавил: «Делай выводы!»

Выводы я начал делать рано. «Так ты, Геночка, уже в 10 лет был противником Сталина?» – недоверчиво спросил меня мой старший коллега по «Литературной газете». Лучше сказать, что я в это время уже не был его обожателем. Остыл. Глаза потихоньку приучались смотреть на мир по-другому.

Что гуляла такая поговорка «Россия – родина слонов», я узнал позже. Но родилась она как раз в то время, о котором пишу. И школа этому рождению усиленно способствовала.

Что, к примеру, сделали с итальянцем Маркони, который одновременно с русским Поповым изобрёл радио? Его перестали упоминать как изобретателя. Остался русский Попов. А англичанин Стефенсон, придумавший паровоз? Оказывается, что братья Черепановы ещё раньше его что-то подобное сделали! Стефенсон тоже перестал упоминаться.

Словом, в детстве меня коробили эти подмены. Выходило, что русскому человеку принадлежали все открытия мира. И эта неправда не давала мне верить во многое, что происходило в стране при Сталине.

Я учился в шестом классе, когда 13 января 1953 года появилась в «Правде» знаменитая в будущем передовая статья «Подлые шпионы и убийцы под маской профессоров-врачей». Среди этих профессоров-врачей преобладали еврейские фамилии. Свистопляска началась истерическая.

Сразу же после публикации статьи на классный час к нам пришла биологиня – парторг школы. Обычно она молчала и слушала, что говорит классный руководитель, что говорят ученики. Но здесь молчать не стала. От неё мы и услышали:

– У нас великая дружба народов! Но одному немногочисленному народу не по душе такая дружба! Особенно не по душе, что сплотились друзья вокруг великого русского народа. Вы поняли, о ком я говорю?

И поскольку никто ей не отозвался, после паузы:

– Я говорю о евреях. Не обо всех, конечно. Есть и среди них достойные люди. Но об абсолютном их большинстве. Можно только удивляться: за что они так ненавидят русский народ? Ведь если б не русские, немцы бы их уничтожили. Всех! поголовно! Если б не Красная армия, абсолютное большинство которой составляли русские. Вместе с русскими братьями воевали и другие народы нашей страны. Но вот что удивительно! Казалось бы, над тобой, евреем, нависла смертельная опасность: тебя в первую очередь Гитлер уничтожит. И много вы знаете евреев, которые пошли на фронт? Единицы! Большинство эвакуировалось вместе с военными заводами, получив броню, то есть освобождение от воинской службы!

Надо сказать, что своего она не добилась. Антисемитов в классе не было. Евреев-учеников во всей школе были считанные единицы. Но среди учителей одним из лучших был математик Исаак Львович Агранович. Он не появился чуть ли не на следующий день после публикации статьи в «Правде». Надеялись, что заболел. Но нет. Оказалось, ушёл. Не по собственному желанию, конечно. (Ненадолго, замечу в скобках. Пришёл назад, как только схлынула эта позорная кампания).

А во дворе антисемитизм усилился. Особенно страдали маленькие дети, которых называли «жидинятами» и которым говорили, передразнивая акцент: «Мацы хоче-ешь?»

Говорили, что многие боятся лечиться у евреев-врачей. К врачам-евреям относились плохо.

Дважды за короткий срок я встречал провокаторшу, о которой писал в одной из мемуарных своих книг. Она стояла в очереди за дешёвой – по 7 ещё сталинских рублей за килограмм – колбасой и рассказывала, что милиция ловила на чердаках евреев, заманивающих конфетами детей и шприцами вытягивающих у них кровь для приготовления мацы. Очередь ахала. Но далеко не вся. Многие брезгливо отворачивались, некоторые возмущались: «Да бросьте Вы сказки рассказывать!» «Сказки»! – возвышала голос тётка. – Вот заманят вашего ребёнка, не до сказок будет!»

Вообще-то статья в «Правде» как бы заставила закипеть варево, которое подогревалось уже несколько лет. Я не о деле Еврейского антифашистского комитета. О нём не писали, и я о нём не знал. Я о том, что у маминой двоюродной сестры, дочки тёти Лизы, золотой медалистки, отказывались брать документы в МГУ на филологический, нагло заявляя: «Бесполезно, всё равно Вас завалят!» А на вопрос Ани: чем она им не угодила? – ответили: фамилией! Аня Фельдман поступила на вечерний в Институт иностранных языков. Но когда схлынула кампания, на следующий год её взяли на дневное отделение в Консерваторию.

Отца вызвали в кадры и сказали, что поскольку у него нет институтского диплома, он должен покинуть место начальника цеха. А другого места для него на заводе не нашлось.

Слава Богу, что недели через три он зашёл на маленький завод при НИИ «Полиграфмаш», где ему посоветовали пройти к главному механику, которому нужен заместитель. Главному механику отец понравился, и на завод его взяли, а года через два, когда старик главный механик ушёл на пенсию, отец занял его место.

Но, пожалуй, самым страшным месяцем в 1953-м был февраль. Евреев травили в печати, не скрываясь. Яков Лазаревич и дядя Миша говорили, что подготовлены вагоны для депортации евреев на Дальний Восток. Говорили, что большинство известных евреев подписались под письмом Сталину, где признавали великую вину еврейского народа перед Россией и просили дать возможность народу исправиться. Вот якобы для такого исправления готовы теплушки, чтобы свезти в район Биробиджана евреев со всего Союза.

Очень помню статью Ольги Чечёткиной в «Правде» (20 февраля) «Почта Лидии Тимашук», которая, видимо, оказалась гвоздём февральской антисемитской кампании. Статью, по моему, прочитала вся страна.

Лидия Феодосьевна Тимашук работала заведующей отделом в кремлёвской больнице и после снятия кардиограммы у Жданова записала диагноз: инфаркт миокарда. Но крупнейшие специалисты: начальник Лечсанупра Кремля П. Егоров, академик В. Виноградов и лечащий врач Жданова Г. Майоров – не согласились с этим диагнозом и заставили Тимашук переписать его, исключив слово «инфаркт». Тем не менее права оказалась Тимашук, которая после смерти Жданова в 1948 году направила своему начальству письмо, где рассказала историю с диагнозом. Письмо пролежало в архиве МГБ четыре года, но всплыло в свет и было положено в основу раздуваемого чекистами «дела врачей-убийц». Под пытками все, о ком писала Тимашук, признались в злодеянии. 21 января «Правда» публикует указ о награждении Л. Ф. Тимашук орденом Ленина «за помощь, оказанную Правительству в деле разоблачения врачей-убийц».

У Чечёткиной Тимашук не заведующая, а самый что ни на есть рядовой врач, без труда поставивший правильный диагноз. Но с ней не согласились учёные с мировыми именами. Что это? Ошибка или преступление? Но для ошибки эти люди слишком опытные. Так значит... И Тимашук решила бороться.

С упоением пишет Чечёткина, какие восторженные письма получает Лидия Феодосьевна, какой любовью окружает её советский народ. Приводит посланные ей, кажется, какими-то рабочими стихи, которые цитирую по памяти:

Позор вам, общества обломки,
За ваши чёрные дела!
А славной русской патриотке
Во веки вечные – хвала!

Словом, всё идёт по плану и, кажется, близится к завершению его осуществления.

И вдруг: дыхание Чейна-Стокса! О нём периодически объявляли в бюллетенях о здоровье Сталина, начиная, кажется, со второго. Это волшебное дыхание породило массу надежд, особенно у заключённых, ждавших, когда Ус откинет хвост, и верящих, что скоро. Лев Разгон в книге «Плен в своём отечестве» описал, как услышав про это дыхание, они, заключённые, бросились к Борису Петровичу, главному врачу санчасти, чтобы узнать, на что они могут надеяться: «Мы сидели в коридоре больнички и молчали. Меня била дрожь, и я не мог унять этот идиотский, не зависящий от меня стук зубов. Потом дверь, с которой мы не сводили глаз, раскрылась, оттуда вышел Борис Петрович. Он весь сиял, и нам стало всё понятно ещё до того, как он сказал: “Ребята! Никакой надежды!!” И на шею мне бросился Потапов – сдержанный и молчаливый Потапов, кадровый офицер, разведчик, бывший капитан, ещё не забывший свои многочисленные ордена...»

Конечно, ни о каком дыхании Чейна-Стокса в то время я не ведал. Слушал очередной бюллетень и не обращал внимание на специфические термины. Вот когда 5 марта диктор начал читать трагическим голосом: «От Центрального Комитета Коммунистической партии Советского Союза...», – помню слёзы отца и его паническое: «Что с нами теперь будет? Американцы обязательно объявят нам войну!»

Что ещё я помню про эти дни? Толстую биологиню-парторга и как мы стояли строем на траурной линейке и давились от хохота, тщательно это маскируя, прячась друг за друга, потому что нас смешили красное зарёванное кабанье лицо и рыдающие, похожие на икание, интонации: «Величайший (ик!) человек (ик!) гений (ик!)».

Помню, как мы с Мариком собирались пойти посмотреть на мёртвого Сталина и уже дошли в толпе до конца Шаболовки, но, увидев, как на повороте в толпу вливается ещё одна огромная толпа, повернули назад и сразу же – в боковой переулок. Идти не хотелось ещё и потому, что было адски холодно.

По телевизору я смотрел похороны Сталина. Слушал выступления Маленкова, Берии, Молотова, понял, что по-настоящему переживает смерть Хозяина только Молотов, нашедший какие-то человеческие слова. Берия в своей речи помянул Маленкова, которого накануне назначили на сталинские посты. И Маленков не выглядел чрезвычайно расстроенным.

Но 4 апреля 1953 года рано утром позвонил дядя Миша. Подошла мать. Недолго поговорив, она открыла дверь квартиры, на котором был приколот почтовый ящик, и достала нашу «Правду». Такой сияющей я больше никогда её не видел. Она протянула «Правду» мне: «Читай!»

Я с недоумением проглядел первую страницу, вторую: чего здесь читать? И вдруг увидел небольшую в две колонки заметку «Сообщение Министерства внутренних дел СССР»: «В результате проверки установлено: обвинения, выдвинутые против медиков, оказались ложными. Привлечённые по этому “делу” врачи полностью реабилитированы». Кажется, в этом же номере опубликован Указ о лишении Тимашук ордена Ленина¹.

Нашему ликованию не было предела.

А 6 апреля «Правда» печатает статью «Советская социалистическая законность неприкосновенна», где сообщает, что министр госбезопасности Игнатьев проявил ротозейство и пошёл на поводу у политических авантюристов, типа замминистра и начальника следственной части Рюмина, руководившего следствием. Рюмин объявлен врагом народа, его арестовали.

Но на кухне я встретил дядю Мотю, мужа тёти Лены, трамвайного вагоновожатого, который сутки работал, а сутки пил. Дыхнув на меня крепким перегаром, он сказал:

– Откупились!

– Кто? – не понял я.

– Врачи. Жида!

Так что в школу я пришёл с слегка испорченным настроением.

Впрочем, оно поднялось снова, когда я увидел биологиню-парторга.

– Здравствуйте, – сказал я ей. – Поздравляю с приятной новостью!

¹ Много позже я читал, что Тимашук не была сотрудницей органов. Она на самом деле поддалась давлению своего начальства, изменив диагноз Жданову. Но подстраховалась, написав об этом в МГБ, в ведении которого находился кремлёвский Лечсанупр. В МГБ её письму не придали никакого значения, и оно пролежало в архиве четыре года, пока на него не наткнулся Рюмин, возглавивший расследование «дела врачей». Да, её лишили ордена Ленина, но через год наградили орденом Трудового Красного Знамени «за долгую и безупречную службу». Это с одной стороны. А с другой, 11 февраля 1953 года «Правда» печатает такое письмо: «В мой адрес поступили многочисленные письма и телеграммы с выражением патриотических чувств по поводу разоблачения преступников врачей-убийц. Не имея возможности ответить каждому в отдельности, прошу через Вашу газету передать мою сердечную благодарность всем организациям, учреждениям, воинским частям и отдельным лицам, поздравившим меня с награждением орденом Ленина за помощь, оказанную Правительству в деле разоблачения врагов советского народа. Лидия ТИМАШУК. 9 февраля 1953 г.» Не отрицала, стало быть, Лидия Феодосьевна свою роль в деле разоблачения врагов народа!

– Это с какой же? – хмуро спросила она.

– С торжеством советской социалистической законности.

Толстое её лицо окаменело. Зубы, судя по всему, сжались. Маленькие кабаньи глаза зажглись траурным светом. Мне показалось, что она сейчас зарывает, как в день смерти Сталина. Но, не разжимая зубов, она пробормотала: «Спасибо», – и поспешила в учительскую, где, как я понимал, вряд ли сегодня могла бы обрести для себя покой.

Часть вторая

1

Мне пятнадцать лет, и я перешёл в девятый класс. Мы сидим на берегу пруда, расположенного между Катуаром (теперь он – Лесной городок) и Внуковым по Киевской дороге. Мы – это я и Нинка, дочь уборщицы детского сада, где работает и моя мать. На лето сад выехал в Катуар, и работницы со взрослыми детьми сняли вокруг летней территории сада комнаты, а за питание детей платят столько же, сколько те, кто отдал в сад своего ребёнка. Темно, но вечер тёплый. Моя рука давно уже расстегнула Нинкин лифчик и жадно сжимает её упругий мячик. Ниже Нинка другую мою руку не пускает, но лезет целоваться. Я целуюсь неохотно: у Нинки неприятно пахнет изо рта. Стараюсь не дышать и не открывать рта, целуюсь. Чувствую, что её сопротивление слабнет, отодвигаю её руку, которой она держала резинку своих трусов, и лезу под резинку. Она дышит прерывисто, сильно выдыхая, обдавая меня несвежим воздухом, и вдруг залезает ко мне в трусы, но быстро вытаскивает руку.

– Спустил? – говорит она, вытирая руку о траву. – Куда спешишь?

Будто это от меня зависит.

Нинка вырывается, скидывает платье вместе с расстёгнутым лифчиком, снимает трусы и бежит в воду.

– Раздевайся, – зовёт, – иди ко мне.

Я голый прыгаю в пруд. Плаваем мы недолго. Опять наши руки ласкают друг друга, и опять я не удерживаюсь.

– Да не спеши ты так, – говорит она недовольно. – Пошли на берег.

Мы одеваемся и идём в шалаш, который мы, мальчишки, построили в углу территории детского сада. Там застлано сеном. На него мы падаем. Я снова срываюсь, едва коснувшись концом её наготы. Орошаю её лобок.

– Да, – говорит она, – от тебя не залетишь! – Берёт в руки и со словами: «Он у тебя не опускается», – приставляет к себе. Я надавливаю и ощущаю, что вхожу. Нахожусь во влажном тепле недолго. Снова заработал мой механизм.

– Не вынимай, – тихо просит Нинка. Но – сглазила она, что ли? – он опустился в ней.

– Отдохни, – говорит Нинка. Она старше меня на два года, но опытней намного. Да и откуда было мне взять опыт: обжиматься с девчонками ещё приходилось, но *этим* заниматься – никогда. Нинка – моя первая женщина. И она это чувствует.

– Отдохнул? – спрашивает и проверяет рукой. – Ого! – радуется, – ну, давай. – На этот раз у нас получается подольше...

В прошлом году отец получил садовый участок в 8 соток по этой же Киевской дороге перед самым Наро-Фоминском. Станция называется Зосимова Пустынь.

Это 64 километра от Москвы. Электричка туда значительно не доходит. Надо ездить на паровике, на который нельзя опаздывать: он ходит всего четыре раза: утром, днём, часов в 7 вечера и к ночи часов в 11.

Наши участки в пятнадцати минутах ходьбы от станции по лесной тропинке. Поначалу садовый участок оказался куском леса, огороженным верёвками. Деревья пилили, их отвозил нанятый садоводами трактор. А пни отец взялся выкорчёвывать вместе со мной. Но пришлось ему нанимать рабочих, которые ходили, предлагая свои услуги. Выкорчевать пень, обрубая далеко распolzшиеся толстые деревянные лапы, а потом обхватывая его канатом и вытягивая из-под земли, для нас двоих было делом непосильным. Отец очень разозлился, что пришлось заплатить за выкорчёвывание, и никак не соглашался нанять людей, чтобы ему вскопали лес-

ную целину. Но, помыкавшись, плюнул и вызвал трактор, который проборошил наши 8 соток за час. В следующий раз мы везли саженцы: вишни, сливы, груши, яблони. Я и в первый раз, когда отец дал мне топор, и мы бессмысленно колотили по корням, приехал домой еле можаху. А сейчас, когда он с энтузиазмом налёг на лопату, попробовал было сделать то же самое, но быстро зверски устал. Отец злился, ругал меня, что я не смог уговорить приехать со мной своих товарищей, показывал на соседей, где на участке трудилось человек десять, но на меня это не действовало. Копать ямы под саженцы шириною в метр и глубиною в метр, я отказался решительно. Единственно, на что я согласился, это носить воду из ближнего колодца. Их штук пять-шесть выкопали заранее на деньги садоводов, когда они ещё не приступали к работе. Ближний колодец от нас находился на расстоянии 300 метров.

У отца крестьянская жилка. Он выносливей меня, четырнадцатилетнего. К тому же он мастер на все руки. Не помню, сколько ям он вырыл под саженцы. Но помню, что сколько-то вырыл точно. Не всё сделали за него наёмники. Кроме того, он соорудил грядки, куда посадил чеснок.

Он мастер на все руки. Весной этого года сам без чьей-либо помощи поставил сарай для инструмента. Втащил туда старую тахту, которую ему отдал кто-то из соседей. И вскопал много грядок, посадив клубнику, огурцы, лук, зелень. Посадил кустарники крыжовника, смородины, малины.

Копать я ему не помогаю. Как и обещал, ношу воду для полива. Летом отец приезжает вечером в субботу после работы (нерабочими субботы стали значительно позже). Ночует в сарае, работает всё воскресенье и уезжает. Договорились, что раз я живу по той же дороге, то хотя бы два раза в неделю я должен приезжать, поливать огород.

Я соглашаюсь. Мать даёт мне с собой еды, и мы с Нинкой (о ней, конечно, никто не знает) уезжаем.

На целинных грядках клубника была очень крупной. Её было много, и Нинка ела её вволю. Я ни земляники, ни клубники не ем с детства. Но смородину ем. И маленькие огурчики тоже. Я делюсь с Нинкой материнской едой. Поливаю огород. Устаю – мы с Нинкой залезаем в сарайчик и наслаждаемся друг другом.

Она неначитанна. Точнее, мало чего читала. «Я дворовая! – сказала мне. – Прихожу из школы, поем – и во двор к подругам». «И к друзьям!» – улыбаюсь я. «Конечно, – соглашается Нинка, – у нас во дворе классные ребята!»

В Москве она жила в одном из Верхних Михайловских проездов. «Михайловские» враждовали с «рощинскими», но по мне ничем лучше их не были. Та же шпана.

Идиллия наша прервалась перед самым отъездом с дачи. Мы лежали с ней в кустах в катуаровском лесу. Она говорила о том, что будет мне звонить в Москве, будем встречаться, что где встречаться – для неё не проблема и вдруг: «Как ты относишься к ребятам-разбойникам?» «К каким разбойникам?» – не понял я. «Которые на дело ходят», – объяснила она. «Ты про воров? – спросил я, холодея, – они тебе нравятся?» «Смелые очень», – ответила она с вызовом.

Она и в Москве продолжала мне звонить. Но встречаться с ней я отказался наотрез.

И всё-таки позже, года через три, когда я шёл с приятелями радиомонтажниками по Малому Калужскому переулку, я её увидел. Спутник Нинки был значительно старше её и выглядел устрашающе, словно только что вышел из тюрьмы. Я вовремя отвёл глаза, чтобы не встретиться с ней взглядом...

2

В Москву я приехал, чтобы уже во второй раз идти в новую школу.

Весь восьмой класс я в ней проучился, жалея о школе старой. Но ничего не поделаешь: с 1954 года ввели совместное обучение мальчиков и девочек, и нас с Мариком Быховским ещё с несколькими одноклассниками перевели в бывшую женскую 653-ю школу, которая стояла на Шаболовке рядом с Шуховской башней и была ближе к дому, чем прежняя 545-я.

Разницу мы почувствовали очень быстро. Мы ведь в прежней школе обгоняли сверстников, а теперь словно опустились на класс ниже. Директором 653-й был учитель физкультуры Аверьянов. Дядька он был добродушный, но очень разозлился, когда мы, несколько бывших учеников 545-й школы, написали ему письмо с жалобой на учительницу математики Нину Васильевну: нам казалось, что она недостаточно квалифицирована.

Аверьянов вызвал меня, Марика Быховского, Сашу Комарова, Валеру Емелина, подписавших письмо. В его кабинете сидели Марья Георгиевна, наш классный руководитель, и Нина Васильевна. Нина Васильевна смотрела на нас скорбно. «Что вы хотите?» – спросил Аверьянов. «Об этом мы Вам написали», – сказал я за всех. «Чем мы-то перед вами виноваты? – наступал Аверьянов. – Нина Васильевна – педагог опытный, не первый год в школе работает. До сих пор на неё жалоб не поступало».

– Дай кто жалуется? – взвилась Марья Георгиевна. – Яйца курицу учат. Эти из 545-й вообразили себя белой костью.

Марья Георгиевна была учительницей географии. В классе она ходила, опираясь то на палку, то на указку. Она прихрамывала. И, наверное, была психически неуравновешенным человеком. Поначалу она ошеломила всех, когда, вступив с кем-то в дискуссию, повышая и повышая голос, вдруг истошно закричала: «Молчать!» – и со всего размаха ударила палкой по столу. А когда ещё и ещё раз повторилась эта сцена, мы оживились. Устанавливали очередь желающих провоцировать Марью Георгиевну. Едва начинался урок географии или классное собрание, как очередник с самым невинным видом задавал Марье Георгиевне глупейшие вопросы, от которых она быстро раскалялась: «Молчать!» – и палка с грохотом обрушивалась на стол. Мы покатывались со смеху, от чего она сатанела ещё больше, орала и била, била по несчастному столу.

Особенно смешно было на уроке географии, когда она держала в руках указку. Указка ломалась, и Марье Георгиевне приходилось водить по карте довольно толстым, обутым в резину концом своей палки. «Где? где?» – вскакивали мы с мест, всем видом показывая, что хотим абсолютной точности, какую, конечно, не могла дать резина, которая закрывала собой внушительный кружок географического пространства. Это Марью Георгиевну снова выводило из себя. «Молчать!» – орала она, обрушивая на стол палку.

– Ну не все из 545-й, – возразил тогда Марье Георгиевне Аверьянов. – Дубасов, например, не подписал письма.

Нина Васильевна кисло улыбалась. Женя Дубасов звёзд с неба не хватал. В 545-й он еле переползал из класса в класс. «Ich bin... Ich bin...» – лепетал он однажды на уроке немецкого, пытаясь составить какую-то простейшую фразу. На что потерявший терпение учитель Михал Михалыч отозвался: «Ихбина, дубина, полено, бревно! Немецкий язык надоел мне давно». Класс взорвался от хохота. Михал Михалыч наверняка не связывал «дубину» в этом стихе с фамилией Женьки. Но с тех пор к Дубасову приклеилась кличка, похожая на дразнилку: «Ихбина-дубина». Впрочем, в первоначальном виде она продержалась недолго. Её усекли, называя Дубасова «Ихбиной».

– Белой костью они себя не воображают, – сказала Нина Васильевна. – Но ребята действительно очень сильные в математике.

– Вот и взяли бы шефство над отстающими, – предложил Аверьянов. – Письма писать каждый может, а вот другим помочь.

Ах, лукавил, лукавил директор. Теперь-то издалека мне это особенно ясно. Далеко не каждый посмел бы тогда написать письмо, подобное нашему. Да и мы посмели, потому что не понимали, что это опасно. Но и опасность уже не была такой страшной, как ещё два года назад.

В воздухе явно посвежело. Имя Сталина редко теперь упоминалось на страницах газет. Писали об управляющем страной «коллективном руководстве».

Но первое же после Сталина снижение цен в народе назвали «маленковским». Оно оказалось невероятно щедрым: цены на фрукты понижены на 50 %! Но и невероятно непродуманным: фрукты мигом исчезли с магазинных прилавков.

Маленкову народ обязан и своим коллективным садоводством. Первый садоводческий участок – по 8 соток, как у нас, появился в той же Зосимовой Пустыни. Он принадлежал сотрудникам министерства электростанций – «электрикам», как мы их называли (любопытно, что, сняв Маленкова с поста Председателя Совета Министров, его назначили именно министром электростанций). Через полгода рядом с ними получили участки и мы.

Наконец, само по себе совместное обучение, как это принято во всём мире. Оно ведь у нас тоже появилось только после смерти Сталина.

Аверьянов, конечно, знал, как поступали при Сталине с теми, кто написал письмо, подобное нашему. Его пересылали в органы, которые начинали дело о вражеском коллективе.

Но Сталина уже не было, и что с нами делать, Аверьянов не знал. Тем более что не так давно арестовали и расстреляли Берию и его могущественных сотрудников. Проще было не выносить сор из избы.

А наши новые одноклассники смотрели на нас, как на героев: они бы на такое не решились. Хотя не убеждён, что они поняли, в чём смысл нашего бунта: Нина Васильевна их вполне устраивала.

Эта новинка – мальчики и девочки вместе – вызвала у нас острый интерес лишь поначалу. Привыкли друг к другу быстро. Хотя на партах сидели раздельно: мальчик с мальчиком, девочка с девочкой.

Бросалось в глаза, что мальчишки способнее девчонок, но менее усидчивы. В первые месяцы казалось, что мальчишки живее, но потом оказалось, что девочки с непривычки просто стеснялись проявлять себя. А перестали стесняться и вели себя не хуже мальчишек: так же бегали на переменах по партам, так же бросались друг в друга тряпкой.

Но в худших учениках больше было девчонок. Схватывать материал на лету умели немногие из них.

Хотя забегая вперёд, скажу, что мальчишки в классе окончили школу без медалей, а медаль (серебряную) получили именно девочки: Маринка Браславская и Надька Монахова.

Правда, всерьёз мы приняли только медаль Маринки: она действительно была способной, а Надька – отчаянной зубрилой. Когда она отвечала у доски, многие улыбались, следя за её словами по учебнику: они либо совпадали с ним, либо не очень сильно от него отличались.

Так или иначе, но ни у кого из мальчишек не хватило терпения стать медалистом.

Шефствовать над отстающими мы согласились. Мне достался Валера Потапов, живший на Хавской улице и учившийся прежде в мужской школе, кажется, на улице Татищева. Но ничего у меня не выходило. Он был органически не способен к математике. И вообще дубоват. Много рассказывал о Германии, где жил несколько лет после войны с работавшими там родителями. «Каждый день, – говорил он, – летали над Берлином американские самолёты». «Для чего?» – спрашивал я. «Шпионили», – уверенно отвечал Потапов. «А наши не шпионили?» – «Наши – нет! – уверял Валера. – Я за всё время ни одного нашего самолёта не видел». «Так ты ведь жил в советской зоне оккупации», – говорил я. «Мы и в другие зоны ездили, – отвечал Потапов, – в Берлине это просто!» «Ну и где лучше: у нас или у них?» «Вот это вопрос, – удив-

лялся Потапов, – у нас, конечно, в сто тысяч раз!» И перечислял преимущества: их квартира занимала целый этаж, немка-экономка, немка-уборщица, немка, гулявшая с ним. «Нянька», – говорил о ней Потапов. «Что же она тебя языку не выучила?», – удивлялся я. «Неспособный я», – вздыхал Потапов. «А как же ты с немцами-то общался?» «Никак, – отвечал Валера, – вокруг жили наши. Я с ними и общался»².

Я спохватывался: он же пришёл ко мне за помощью! Начинать снова объяснять ему математику, но ничего из этого не получалось³.

А вот у Сашки Комарова из нашего дома, который взялся помогать Зине Баласановой, жившей над ним этажом выше, дело пошло на лад быстро. А ведь и Зина была туповата. Стало быть, не только в учениках дело, но и в учителях. Из меня учитель выходил неважный.

Сашка вообще был очень способным к математике и физике. После школы он легко поступил в Физтех. По слухам, он потом работал в Дубне, в Институте ядерной энергии, баллотировался в Академию наук. Но проверить слухи я не могу: ни с кем из наших общих знакомых я давно уже не вижусь.

Сашка был из тех, кого можно назвать фанатом любимого дела. Таких мне приходилось встречать не так уж часто. Помню, когда учился в университете, позвал к себе своего сокурсника Борю Гражданкина послушать записи песен Булата Окуджавы. Они тогда только-только расходились по Москве на магнитофонных плёнках. Боря, который увлекался лингвистикой, слушал очень внимательно. И когда отзвучала последняя песенка, сказал:

– Какой чудесный московский выговор!

– А песни? – спросил я.

– Песни хорошие, – похвалил Боря. – Но выговор, – он даже зажмурился от удовольствия, – но старомосковское «аканье»!..

Вот так же и Сашка Комаров. «Ну чего же здесь непонятного? – охотно объяснял он физическую задачу каждому желающему. – Смотри, как красиво она решается».

Что его связывало с Емелиным, кроме того, что жили они в соседних подъездах, я не знаю. Валера Емелин был чуть ли не единственным учеником нашего класса, который жил с родителями в отдельной квартире. Его отец был крупным офицером госбезопасности. В прежней 545-й школе подобных детей, как я уже говорил, было немало. Но в 653-ю из них перешёл только Валера Емелин, большой меломан. У Емелиных в квартире стоял радиоконбайн, не просто радиолы, как у многих, но ещё и редчайший тогда магнитофон, и тоже редкие для того времени небольшие динамики, расположенные в разных углах комнаты. «Стерео», – с удовольствием объяснял Комаров, когда и я оказывался в емелинской квартире. Валера особенно любил оперу Леонкавалло «Паяцы». «Ариоза Канио», – почти молитвенно произносил он, когда начиналась ариоза. Но Сашка Комаров, прослушав одну, другую пластинки Емелина, начинал скучать. «Поставь лучше вот эту», – протягивал он другу принесённую из дома пластинку Утёсова. И крутил головой, подпевая: «Ведь ты моряк, Мишка, а это значит...»

А с Мариком Быховским мы подружились рано. Уже в четвёртом классе я приходил к нему в гости. В большой (по сравнению с нашей) девятнадцатиметровой комнате жило много

² Скажу, что в воспоминаниях об американских самолётах, летавших над Восточным Берлином, Потапов был точен. Я вспомнил о его утверждении, когда позже прочитал о том, как, надеясь заполучить Западный Берлин, Сталин в июле 1948 года объявил железнодорожную и автомобильную блокаду всего Берлина. Долго её держали, заставляя бывших союзников добираться до Берлина по воздуху. А когда они собрались устроить обсуждение берлинского вопроса в ООН, мы воспользовались своим правом вето. Но не вышло у Сталина. Американцы сбрасывали западноберлинцам всё необходимое. Берлинский кризис официально был разрешён 6 мая 1949 года подписанием совместного коммюнике всех заинтересованных сторон, подтвердившего особый статус Западного Берлина. Однако ещё три с половиной месяца тянули со снятием блокады. Последний самолёт по воздушному мосту пролетел 30 сентября 1949 года. Организаторы моста подсчитали, что за время берлинской блокады было совершено 277 264 полёта!

³ Ещё скажу о Валере Потапове. Он влюбился в нашу одноклассницу Валю Сытую и не скрывал своей любви. Ходил за ней тенью. Валя тоже его отличала. Но кончилось это трагически. У Вали обнаружили опухоль мозга. И через небольшое время она умерла. Когда её хоронили, на Валеру Потапова смотреть было страшно. Он плакал, не скрываясь.

народу. Яков Лазаревич, о котором я здесь уже говорил, отец Марика, его мама Людмила Александровна, старший брат Вова, сестра Юля, Марик и бывшая когда-то то ли няней детей, то ли домработницей Галя, которую давно уже все считали членом семьи. Людмила Александровна сочиняла рассказы, которые изредка печатала, подписываясь: Людмила Добиаш, учительница. Она и в самом деле когда-то преподавала, но я её учительницей уже не застал. Рассказы читал, и они мне нравились. Была она религиозна, ходила в церковь, соблюдала посты. Всех это, кроме Якова Лазаревича, почему-то смешило. Впрочем, чему здесь удивляться? Атеистическая пропаганда своё дело делала. В Донскую церковь, расположенную неподалёку от нас, ходили одни древние старухи, которых, как мы считали, всё равно не перевоспитаешь – что с них, неграмотных, возьмёшь? Но к тому, что грамотная, нестарая ещё женщина, писательница верила в Бога, мы всерьёз не относились.

Наши смешливые взоры Людмила Александровна встречала радушно. Она вообще была очень добрым человеком. Интеллигентным.

Яков Лазаревич заведовал лабораторией во Всесоюзном научно-исследовательском институте электроэнергии (ВНИИЭ), в том же институте, где работал чемпион мира по шахматам Михаил Ботвинник. Когда я женился, нашим соседом по лестничной площадке оказался начальник главка министерства электростанций Виталий Александрович Вершков. «Быховский?» – переспросил он меня, когда речь случайно зашла о Якове Лазаревиче, и ответил: «Конечно, знаю. Его все знают. Очень дельный работник!»

Отец моего школьного друга оказался как бы моим духовным отцом. Много он сумел мне привить. Передал любовь к поэзии – с его подачи я прочитал несколько имеющихся у него дореволюционных «чтецов-декламаторов», знаменитую антологию Ежова и Шамурина, знал наизусть многих поэтов Серебряного века, читал книги, которые при Сталине предпочитали выбрасывать: за их хранение можно было получить лагерный срок. Честный и чистый, Яков Лазаревич, казалось, ничего не боялся – до самой своей смерти снабжал нас с женой самиздатовскими или тамиздатовскими вещами.

Я не знаю, сохранилась ли в актовом зале бывшей нашей 545-й школы почётная доска, на которой золотыми буквами писали фамилии золотых медалистов, а серебряных – серебряными. Если сохранилась, то под 1952-м годом вы прочитаете: «Быховский В. Я.». Это старший брат Марика. Человек феноменальной одарённости, лауреат премии имени А. Н. Баха – почётной награды президиума Академии наук, он в конце концов стал заместителем директора биохимии имени А. Н. Баха и наверняка был бы избран в Академию, если б не ранний его инсульт, из которого он не выбрался.

С Мариком мы расстались после того, как закончили МГУ, он – химический, я – филологический. И расстались, как оказалось, навсегда.

Кажется, ещё Василий Аксёнов остерегал в одном из своих ранних романов: «Не возвращайтесь, ребята, в детство. Не сможете!»

Меня в детство не тянет. Хотя вспоминаю я сейчас о нём не без удовольствия.

Как и я, Марик любил поэзию и, конечно, читал те книжки, которые давал мне его отец. Мы крепко дружили, помогали друг другу, поддерживали друг друга во всём. В девятом классе основали мы с ним сообщество, составив из начальных букв наших фамилий его название, «Крабы», написали устав, по которому могли подсказывать только его членам.

Пижон и второгодник Лёнька Лобанов, тянувшийся к нам, вступать в «Крабы» решительно отказывался, за что и поплатился: какие знаки ни подавал нам, стоя у доски, какими ужимками ни просил о помощи, он её не получил. Обиделся он тогда на нас страшно. Но мы были непреклонны: подсказываем только членам сообщества!

Удивительно, что с Лобановым, с которым мы в школе приятельствовали, но не больше того, наши пути пересекаются до сих пор. Когда я женился и через короткое время стал бывать в компании старшей сестры жены и её мужа, оказалось, что они дружат с Лёнькой. Причём

сблизились давно на почве модных тогда поветрий – любви к джазу, вечеринкам, ресторанам. Я и сам отдал им дань. Вот смотрю на фотографию нашего 9 класса «в»: сидит Лёнька Лобанов с модным коком на голове, и у меня на голове кок, и у Марика. У всех у нас есть узкие брюки, но только Лёнька позволил себе сузить ещё и брюки от школьной формы, за что его не раз тягали к Аверьянову, но Лёнька стоял насмерть, и наш директор махнул на него рукой.

Нагловатый, красивый, остроумный Лёнька сразу стал кумиром наших девочек в классе, но относился к ним свысока, предпочитая подружек постарше, которых много было у Инны, сестры моей жены. Так что с Инной они были знакомы ещё раньше, чем я встретил свою жену. Инна, студентка Медицинского института, была замужем за своим сокурсником Володей Кузьменко, который тоже был очень компанейским. Он оказался талантливым хирургом, защитил обе диссертации, стал заведующим кафедрой. В 2001 году он умер. Неожиданно, потому что был моложав, работоспособен. Недавно умерла и Инна. Но с Лобановым и его женой Люсей мы продолжаем встречаться.

Снова смотрю на фотографию 9 класса «в». Наши с Мариком коки на голове уложены руками парикмахеров давно уже снесённой гостиницы «Гранд-Отель». Тогда это была самая модная в Москве парикмахерская. Стрижка, мытьё головы, укладка, бриолин, одеколон «Шипр». В школе на нас косились, учителя – неодобрительно, девочки – с пониманием.

Это было в разгар борьбы против западного влияния, названного «стиляжничеством». По улицам шныряли дружинники. Могли порезать узкие брюки, насильно обрить наголо. Но нас Бог миловал. А вот с Аллой Николаевой, хорошенькой курчавой брюнеткой из класса младшего нас на год, случилась большая неприятность.

Остриженная по последней моде, под мальчика, Алла вместе с несколькими одноклассницами отправилась по выданным им комсоргом школы пригласительным билетам на вечер встречи с будущими целинниками в клуб «Новатор». После торжественной части, на которой выступил первый секретарь ЦК ВЛКСМ Александр Николаевич Шелепин, начались танцы. Алла танцевала с упоением до тех пор, пока её не остановили дружинники и не пригласили следовать за ними.

В комнате, куда её привели, сидели Шелепин и его свита. Шелепин посмотрел на Аллу грозно и брезгливо: «Я скажу Вам как мужчина: Вы непристойно уродливы!» Алла заплакала. «Раньше надо было думать!» – сказал Шелепин и велел кому-то из холуёв позвонить в школу и потребовать созыва комсомольского собрания.

Юля Быховская, сестра Марика, когда ей передали, что сказал Алле Шелепин, возмутилась: «А я б ему ответила: какое Вы имеете право смотреть на меня как мужчина!» Но Алла была младше и не так находчива. Аверьянов вызывал Аллиных родителей. По поводу Аллы собирали совместное заседание партбюро школы и комитета комсомола. Каким-то всё-таки образом обошлись без комсомольского собрания. Скорее всего, Шелепин про Аллу забыл. Да и вряд ли он про неё вообще помнил. 1955-й год был очень неустойчивым для партийного и комсомольского руководства. Непонятным.

Выходит, не зря я усомнился, что Трайчо Костов мог перед казнью написать покаянное письмо, где признавался, что шпионил в пользу фашистской Югославии. Не зря не верил, что и Ласло Райк был агентом кровавой клики Тито-Ранковича.

Этому я не верил, но не верить тому, что кровавая клика вообще существовала, не верить художникам Кукрыниксам, много рисовавшим Тито, мне и в голову не приходило. Они изображали маленького толстого человечка, летящего по воздуху. С его головы свалилась маршальская фуражка, а на задку красовался чёткий отпечаток подошвы сапога с маркой изделия «Made in USA». А из газеты «За социалистическую Югославию», которую я брал в читальном зале библиотеки, я узнавал о сотнях тысяч политзаключённых, об ужасных пытках в гестаповских застенках руководителя службы госбезопасности Александра Ранковича, о множестве трупов

умерших от голода людей, которых ежедневно подбирают и свозят в крематорий. Как я мог не верить таким вещам? Ведь это писали сами югославы!

И вдруг оказалось, что все ввали. И журналисты (югославы и не югославы), и карикатуристы. Не было в Югославии фашизма. Не стояла во главе страны кровавая клика. Была там, как и у нас, единственная партия, которая называлась Союзом коммунистов Югославии. Её председателем был президент страны маршал Тито.

Народ немедленно отозвался на крушение сталинского мифа. Яков Лазаревич со смехом прочитал нам ходившее по рукам четверостишие:

Дорогой товарищ Тито,
Ты нам друг и брат!
Нам сказал Хрущёв Никита:
«Ты не виноват!»

3

Ничего, разумеется, хорошего не выходило из того, что мы из 545-й вернулись в новой школе отчасти к тому, что уже знали.

В прежнюю школу я ходил с охотой. С предвкушением интереса, который вызовет в тебе увлечённый своим предметом учитель. В новой школе энтузиастов своего дела среди педагогов было немного. В старой я привык к урокам-беседам. В 653-й, как правило, перед каждым учеником во время урока лежал учебник. Учителя заставляли читать из него чуть ли не вслух, а потом вызывали к доске повторить прочитанное.

Нет, отстать мы не отстали, но навёрстывать упущенное, пока скучали и не очень вникали, бросились. Наверстали быстро.

В школе действовали кружки. Я записался в химический. Ходил в него год, толк в ступе разные смеси, поджигал их на горелке, но химию так и не полюбил.

С большим удивлением я обнаружил среди старых своих бумаг грамоту чемпиона школы 1955 года по шахматам. Ведь шахматами я никогда особенно не увлекался. А потом вспомнил: действительно такой турнир проводили. По олимпийской системе: проигравший выбывает. Девочки были первыми. А я как-то исхитрился выйти в финал и кого-то из ребят победить. Видно, не было в школе сильных шахматистов.

А стенгазета была. В классе мы её выпускали, кажется, раз в две недели. А для школьной, которая называлась «За отличную учёбу», раз в месяц вставляли в деревянный трафарет новые заметки. Стихи туда и туда писал не только я. Писал их и Женя Д., мой одноклассник, любитель изящного.

Сейчас объясню, почему я не называю его фамилии. Мы обменивались тетрадками со стихами, коллекциями открыток с репродукциями: у меня их было мало, а его родители помогли ему собрать довольно приличную. Он размещал их в альбомах по системе: «античная живопись», «живопись эпохи Возрождения», фламандцы, классицисты, передвижники и т. д. Приносил он и альбомы с марками, но их я разглядывал из вежливости: марки меня не интересовали.

Девочки, как мухи, облепляли его альбомы. Меня несколько раздражало, что он говорил с ними, томно кокетничая, словно передразнивая их ужимки.

Я встретил его в 13-м троллейбусе, когда ехал на работу в «Литературную газету». Трамвай по Цветному бульвару уже не ходил, а 13-й троллейбус, кажется, ходит и сейчас. Мы вместе вышли: оказалось, что работаем напротив друг друга на разных сторонах бульвара. Он – в издательстве «Искусство».

Я заходил несколько раз в его редакцию, где работала моя знакомая Саша Денисова, жена детского драматурга Льва Устинова. Саша давала мне рукописи на внутренние (для редакции) рецензии. А теперь выяснилось, что и Женька Д., мой одноклассник, устроился сюда работать. Я пришёл к ним с бутылкой. Женька царил за столом, шутил, рассказывал вполне приличные анекдоты.

Совсем немного времени прошло, когда Саша испуганно сказала мне, что Женя арестован. За что – сказала ещё через некоторое время, когда был оглашён приговор: за гомосексуализм. Саша очень удивлялась: кто бы мог подумать? Такой компанейский мужик! И женщинам в редакции нравился, и ухаживал за ними красиво.

А я вспомнил ещё со школьных времён его, выражаясь по-есенински, «изломанные и лживые жесты». Всё-таки действительно кокетничал он, как девчонка, и в девичьем обществе чувствовал себя, как рыба в воде.

– За что же его посадили? – спросил я Сашу. – Он кого-нибудь совратил?

– Нет, – ответила она. – В уголовном кодексе есть статья про гомосексуалистов. Их как гомосексуалистов и сажают.

Лёнька Лобанов, когда у нас зашёл о Женьке разговор, сказал, что ничуть этим не удивлён. У Жени Д. была разбитная двоюродная сестра, которая охотно знакомилась с его приятелями. Познакомилась и с Лёнькой. И рассказывала ему, что знакомиться с её подружками брат отказывался, зато оживлялся, когда она представляла ему своих кавалеров.

Я ничего о нём больше не знаю. Не встречал его, не видел. Но что ему жизнь сломали, убеждён.

Как сказала Фаина Григорьевна Раневская, узнавшая о подобном случае: «Что же это за страна, в которой человек не хозяин собственной ж...»

В школе мы с Женей писали эпиграммы, скетчи, какие-нибудь поздравления именинникам. У кого были лучше, судить не берусь. Наверное, у обоих не слишком хорошие, коль ни из него, ни из меня поэта не вышло. Да мы и не соперничали. Но относились к творчеству друг друга серьёзно.

Не сохранились мои детские тетрадки. Жаль. Потому что были на полях стихов Женькины замечания. А в его тетрадке – мои. Мы писали друг другу, как Пушкин на полях Батюшкова (о чём, конечно, то есть о пушкинских замечаниях, в то время не подозревали!): «Здорово!», «здесь я бы вместо того-то написал бы то-то!», «эти строки надо доработать!»

А по школьному радио читали то мои стихотворные фельетоны, то Женькины. Оба были те ещё моралисты: высмеивали то, чем грешили сами – прогульщиков, грубиянов, матерщинников. Сказывалась, разумеется, советская атмосфера, разлитая в обществе: думай, как хочешь, а пиши, как надо. Я и в печати поначалу следовал этому правилу. Но быстро понял его порочность: перестал быть официантом советского официоза.

Но в чём у меня действительно было преимущество перед Женькой, это в начитанности. Женька не читал того, что читали мы с Мариком. Да и вообще читал мало. Поэтому Анна Александровна, наша учительница литературы, отличала не его, а меня. А после одного сочинения, которое задала нам написать на свободную тему в форме диалога, уверенно сказала: «Ты будешь писателем!»

С этим моим сочинением долго носились. Его поместили в школьной стенгазете. Посылали на какой-то районный литературный конкурс (правда, никаких премий я не получал). С одной стороны, меня это радовало. А с другой – удивляло: почему не носятся так с моими стихами?

Тем более что диалог я написал очень быстро. Ещё по дороге из школы домой я его продумал, а дома сразу же и записал. Телефон в нашей коммунальной квартире, как я уже здесь писал, висел в коридоре. Если ты на кухне, то не хочешь, но услышишь, о чём говорят Витька, Ира, тётя Лена, тётя Катя или моя мать. Слушая, я каждый раз поражался сумбурности живого разговора. За каких-нибудь пять-десять минут о чём только не говорили собеседники. Я фиксировал и свои разговоры. И тоже находил их далёкими от стройной логики. Вот эту сумбурность я и передал. Назвал сочинение «Разговор по телефону» и начал:

– Ты понял, о чём нам задали писать сочинение?

А дальше, ответив на этот вопрос, пошёл перескакивать с темы на тему и закончил диалог, заставив собеседников перелететь от недавних гастролей французского театра «Комеди Франсез» к проходящей сейчас неделе французских фильмов, на которой я успел посмотреть «Красное и чёрное» и «Плату за страх».

– Скорее всего, ты будешь драматургом, – сказала мне Анна Александровна. Не угадала. Драматургом я не стал.

Вспоминая сейчас, как преподавали у нас литературу, и сравнивая это с тем, как преподают литературу сейчас, думаю, что много грехов на душе у коммунистических правителей, но такого греха, как не дать детям углубиться в тексты Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Тургенева,

Л. Толстого, Чехова, они на собственную душу не взяли. Оболгали, конечно, писателей статьями прислуживающих им идеологов, учебниками, имеющими отношение не к литературе, а к социологии. Некоторых классиков вообще не допустили к школьникам – Достоевского, Лескова. Но ведь **не выкинули на свалку всю русскую литературу, дали в неё вчитаться и, стало быть, иметь возможность хотя бы про себя, для себя не соглашаться с лжецами!**

Провальных сочинений я у своих одноклассников не помню. Грамотой владели не все, но даже вечно пишущие с грамматическими ошибками Галя Толстая, Тоня Мерзлякова, Юра Барабанов слогом владели. Не в высокопарном, конечно, значении, но в самом обычном: умели связно выражать свои мысли. Много ли, мало ли, но читали все!

Не было компьютеров и сотовых? Были телевизоры, сбегали с уроков посмотреть какой-нибудь фильм. Помню, чуть не полкласса вместо урока физкультуры смотрела в «Ударнике» «Терезу Ракэн». Аверьянов потом рвал и метал. На первом этаже вывесили огромное бумажное полотно: «Позор прогульщикам» – и наши имена крупными буквами. Плакат висел недолго. Юрка Барабанов его сорвал и сжёг в своём дворе. Всех опрашивали: кто это сделал? Но кому охота была доносить?

Давно уже слышу недоумённое – от либералов, радостное – от коммунистов: так что же, выходит, тогда было лучше, чем теперь? Не радуйтесь и не возмущайтесь: лучше не было.

Наши руки были скованны, наш энтузиазм – строго дозирован. Самостоятельность не поощрялась. Простенькую заметку в школьную или в классную стенгазету внимательно читал Шалва Валентинович, парторг школы. Он правил даже Надьку Монахову, очень старательную, усидчивую, всегда и во всём соглашавшуюся с любым учителем. Я уже писал, что она вырвала серебряную медаль зубами, зубрёжкой и благоговейным своим поведением. Отвечала она бесцветно, но правильно. Задачи решала верно, писала грамотно. Но интересовал ли её какой-либо предмет больше других, для всех так и осталось тайной. Куда она поступила после школы, я не знаю.

Так вот даже у Надьки Шалва Валентинович находил крамолу. «Не мы, ученики, – говорил он, – заноса ручку над заметкой, – а мы, советские ученики, – он вписывал слово. – Не нас должно волновать, а нас, советских учеников, учащихся 653-й школы, должно волновать», – и снова вписывал. А уж мои или Женькины сатирические стихи на свет проглядывал. «Не слишком ли ты увлёкся критикой? – спрашивал он меня. – Может, припишешь что-нибудь жизнеутверждающее?» Я горячился: «Это же сатира?» «Ну и что?» – удивлялся Шалва Валентинович.

Да, какой-то весенний сквознячок иногда пронизывал затхлый, известный мне ещё по старой школе мир. Но мир по-прежнему оставался затхлым. Скучные казённые комсомольские собрания. Бесцветные политинформации, которые делал кто-нибудь из нас, назначенный Марьей Георгиевной. Обычно мы повторяли радиопередачи и газетные статьи. И всё-таки культурная жизнь в стране потихоньку оживлялась.

О гастролях театра «Комеди Франсез» и о неделе французских фильмов в Москве я уже здесь писал. Яков Лазаревич дал нам с Мариком прочитать в журнале «Театр» пьесу Виктора Розова «Вечно живые» с действительно очень живыми диалогами без нудной назидательности, которой так отличались спектакли в театрах, куда нам устраивали коллективные походы. Появился новый журнал «Юность». А в нём – повесть незнакомого нам Анатолия Гладилина «Хроника времён Виктора Подгурского». Ничего похожего на прежнюю унылую серятину.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.